

Встреча

Они молчат или говорят очень мало. Не оттого, что не умеют, а оттого, что не хотят лгать и пустословить. Не хотят притворяться. Их пугает шум, который на самом деле пустота. Их молчанье—крик наглухо захлопнувшейся двери.

Они—аутисты.

Нюта родилась в Мексике и всю свою жизнь разговаривала только с родителями, а ещё с Бертой и Мигелем. Ей едва исполнилось семнадцать, когда родители расстались, и мать, забрав Нюту, вернулась в Москву. Оказалось, для того, чтобы мы с ней встретились, но не только. Правда, понял я это гораздо позже, да и то не до конца.

Единственно, на что я тогда повёлся,—её работы. Как о женщине, я о ней не думал ни в тот день, ни ещё много дней потом. Слишком она была маленькая, молчаливая, слишком в себе. Они никак не подходили друг другу—Нюта и её картины. Девочка и бездна, девочка и небо, а скорее всего, и то и другое сразу,—как такое может быть? Пожалуй, я её даже немного опасался, пусть и вполне безотчётно.

Поначалу гораздо опаснее показалась мне её мать. Своё невероятное имя она носила как корону, а морщинки в уголках глаз делали её совершенно неотразимой. И смотреть на неё почему-то хотелось снизу вверх.

Я обратил внимание, как она парковалась,—прямо под окнами мастерской,—быстро и точно, по-мужски.

—Здравствуйте! Я Этери,—ладонь у неё была узкая и очень живая. Она обвела взглядом всё вокруг: подрамники, холсты, увешанные картинами и набросками стены,—потрогала лежащий на столе незаконченный витраж и тихо, сама себе, пробормотала: —Ну, что же, может быть, в самом деле...

Лет сорок-сорок пять—в матери она мне не годилась, но глядела очень строго.

—Я готова показать вам то, что привезла. Вас не затруднит принести из моей машины картонную

папку? Она на заднем сиденье, вы увидите,—и, не дожидаясь моего ответа, она протянула мне ключи.

...—Здесь только графика и несколько акварелей. Если я не ошиблась, совсем скоро вы увидите и остальное.

—Не ошиблись во мне? Что я способен оценить то, что вы хотите мне показать?

—Не в этом дело. Оценить способен каждый,—увидев такое хотя бы однажды, уже не забудешь. Нужен человек, способный поверить.

—Во что же?

—В то, что это возможно. Даже у меня получилось не сразу, а ведь речь о моей дочери.

—Очевидно, я не понял... Я почему-то думал, речь о вас.

—Нет-нет, о ней. Её зовут Нюта, то есть Анна. Анна Вагнер,—она потянула за тесёмку, развязывая папку.—Она—гений. И я ничего не могу с этим поделать...

Так это началось.

Нюта—дневник

Два года назад мама сказала, что мне было бы полезно завести дневник. Так и сказала: «Полезно». —Разве я больна?—спросила я.

—Нет, что ты. Откуда такие мысли?

—Ты сказала: «Полезно». А это слово находится в коробке «Здоровье».

—Видишь ли... Бывает, что слова перескакивают из одной коробки в другую.

—Как зайцы?

—Ну да. Только солнечные.

—Потому что они неживые?

—Слова-то?—мама задумалась и вдруг улыбнулась.—Слова, они как раз живые, даже слишком. Может быть, поэтому вместо того, чтобы производить, ты раскладываешь их по своим коробкам. Дневник тебе поможет.

—Чем поможет?

—Выпустить слова на волю.

Про эти мои коробки отдельная история. Я расскажу, но не сейчас, ведь если начинаешь отвлекаться с самого начала, до конца, скорее всего, так и не доберёшься. А не доводить начатое дело до конца, это никуда не годится—так говорит папа. Вернее, он так говорил раньше, потому что мы

с ним больше не живём. Такая незадача — расставаться с тем, кого любишь. Как-то вдруг, и не потому, что он меня и маму не любил или обижал, — нет. Но однажды мама полюбила другого мужчину. Хотя я думаю, она и папу продолжает любить, она сама так говорит, а значит, это правда. Только того, другого, гораздо больше. Так бывает. Поэтому мы с ней уехали, хотя и не сразу. Сначала мама становилась всё грустнее, это было долго, и папа всё понял без слов. То есть все его слова тоже остались в своих коробках. Когда я спросила почему, мама сказала, что словом можно убить. Так что, может быть, всё к лучшему. Только вот разве солнечным зайцем убить можно?

В аэропорту, когда мы прощались, папа хотел сказать очень много, но вышло только два слова: «Если что...» Я видела, что губы его совсем не слушались. Мы улетели.

Я никогда не бывала раньше в Москве, потому что родилась и всё время жила в Мексике. Прошло уже полгода, а я всё ещё не привыкла. Ещё мне очень не хватает моего дневника, того самого, который я завела два года назад. Он стал мне настоящим другом, почти как Мигель. Перед самым отъездом я подарила его папе, чтобы ему не было так одиноко. Там и в самом деле много смешного, правда. Ну и совсем чуть-чуть грустного. Ещё там всякие глупости, которые я и повторять-то стесняюсь, но папа всё поймёт правильно.

Бабушка Алекс нашла маме человека, который поможет устроить выставку моих картин. У него странное имя Саша. Он приходил к нам домой, чтобы всё увидеть самому, и я даже успела заглянуть в его коробки со словами, правда, совсем немного. Я ужасно обрадовалась, потому что так бывает не всегда и не со всеми. Мама пока не знает, что я завела новый дневник, чтобы рассказать про Мексику, про то, почему я рисую и почему я — это я. Это будет даже не дневник, а настоящая книга. Начало — вот оно. Окончание тоже будет, хотя до него ещё далеко. А между ними мне предстоит написать много-много слов, которым давно скучно и тесно в своих коробках. И когда они будут написаны, может быть, исчезнет это странное чувство внутри, что его, чувства, нет. Ничего нет. Будто там, где солнечное сплетение, — дыра и все слова улетели. Разве так бывает?

Мексиканка

У неё были необычайного цвета глаза — тёмно-синие, почти фиолетовые на детском, неожиданно бледном лице и прямые чёрные волосы, собранные в хвост. Ни дать ни взять, школьница, лет пятнадцать, не больше.

— Привет! Ты та самая Нюта, верно?

Прозвучало покровительственно и совершенно по-дурацки. У меня никак не получалось совместить то, что выходило из-под её кисти и её

облик. Этери была права, я ещё не научился верить, что этот, в сущности, ребёнок способен видеть, понимать и передавать такое. К тому же я был почти в два раза старше и казался себе вполне умудрённым жизнью.

Она промолчала. Она вроде бы и не смотрела на меня, но впервые в жизни я почувствовал себя прозрачным как стекло.

Я не знал ещё, что у Нюты синдром Аспергера — нечто вроде лёгкой формы аутизма, не знал, что она разговаривает только с Этери, я ещё ничего не знал. Много позже, когда между нами уже появились слова, она призналась, что с детства боится незнакомых. Почти всех.

— Почти? — спросил я. — Значит, кого-то нет?

— Тебя. Ты был не как все.

— А остальные? Ты продолжаешь их бояться?

— Наверное. Да. Они не такие, как я.

— Что же в этом плохого?

— Не знаю. Но это страшно. Будтоходишь в лес.

— И что? Лес, это всего лишь деревья.

— Нет. Деревья, когда каждое отдельно, а лес — все вместе.

— Какая же разница?

— С деревьями я могу говорить, они мне как родные. Раньше я всегда разговаривала с секвойей и с цветами в саду. А ещё с Мигелем, нашим садовником.

До этих слов было ещё далеко, очень далеко. А сейчас она просто стояла напротив, повернувшись спиной к окну, — маленькая, хрупкая, — и от её фиолетовых глаз делалось горячо и больно в груди. Слово там зажглось солнце и ты вот-вот сможешь понять...

Я не услышал, как подошла Этери. Поступь у неё была мягкая, как у кошки, скорее даже как у пантеры, — с таким именем по-другому просто не могло быть.

— Привет, Саша!

— Здравствуй, Этери. Мы вот тут с Нютой беседуем...

— Я вижу, но не торопитесь. Вам обоим понадобится время, чтобы привыкнуть друг к другу.

Она подошла к Нюте, обняла, они тихо о чём-то заговорили, и я понял, что совершенно для них не существую. Они были вдвоём и одно — не такие, как все, не такие, как я. И почему-то вспомнились слова Маугли из детской книжки: «Мы с тобой одной крови, ты и я».

— Я вам очень благодарна, Саша, — Этери оторвалась от Нюты и обратилась ко мне. — Вы были правы, это именно то, что нужно. Пространство просто идеальное, и свет, самое главное — свет. Через неделю там смена экспозиции, и у нас будет целых четыре дня до открытия следующей. Четыре дня в одной из лучших галерей — и это благодаря вам.

— Нет, это Нюта и её картины, — я покачал головой и посмотрел на девочку. — А что, если я захочу тебя о чём-то попросить? Не сейчас, когда-нибудь потом. Можно?

Она продолжала молчать, затем перевела взгляд на мать и заговорила — тихо-тихо, почти одними губами, — я, во всяком случае, не услышал ничего. Вместо неё ответила Этери:

— Нюта знает, о чём вы хотите попросить, так она сказала. Ещё она сказала, что пока нет. Не обижайтесь и не удивляйтесь, Саша, вы ведь уже немножко поняли, правда? И хотя бы чуть-чуть поверили.

— А разве у меня есть выбор? — я улыбаюсь и пожимаю плечами. — Нюта, очевидно мне пора переходить с тобой на «вы». Может, начнём прямо сейчас? Ты не против?

Здесь она впервые мне улыбнулась.

Так что там говорил Маугли?

Нюта — дневник

Мои родители познакомились и поженились в Москве. Папа — немец, он был тогда дипломатом, так же, как его отец и его дед. Он работал в посольстве, а мама только что закончила университет. Кажется, это называлось германо-романские языки, я точно не знаю. Они встретились на какой-то выставке, и случилась любовь. Но чтобы жениться на маме, папе пришлось оставить службу. Тогда они решили уехать. Когда я спросила маму, почему в Мексику, она засмеялась и рассказала, что в тот момент им было всё равно, они просто ткнули в карту наугад, и это оказалась Мексика. Когда у них родилась я, папа привёз из Германии Берту, и она стала моей няней. В Москве осталась мамина мама — моя бабушка Алекс. На самом деле её зовут Александра, и я её никогда не видела, только на фотографиях. По-моему, между ними что-то произошло, но мама не любит об этом вспоминать.

Дома мы всегда говорили с мамой по-русски, с папой на его родном немецком и английском, а с Мигелем на испанском. Получается, что я говорю на четырёх языках, но на самом деле ни на одном, потому что я говорю только с ними и немного с Бертой, а больше ни с кем. Это потому, что у меня синдром Аспергера и я разговариваю только с теми, с кем могу, а могу только с ними. Я уже привыкла, но иногда думаю, что, может быть, появится кто-нибудь ещё. Когда-нибудь потом. А пока у меня есть дневник и ещё — слова внутри. Мигель всегда говорил, что самое главное — то, что внутри. Что это и есть бог, и хотя он у каждого свой, но в то же время один на всех. Мне это непонятно, но я ему верю. Скорее всего, я говорю только с теми, кому верю, а таких всего четверо. Если не считать деревьев. Правда, они не отвечают мне так же, как я всем остальным. Может быть, я тоже немного дерево?

Я много раз пыталась вспомнить, когда начались картины, но так и не смогла. Наверное, потому, что они были всегда или даже ещё раньше. И раньше, чем я. Я точно знаю, что и мысли и слова, и картины живут сами по себе, в своей собственной вселенной. Как они попадают к нам и зачем мы им нужны? Может, чтобы питаться нашей любовью, а может, чтобы помочь любить нам. Непонятно. Но они — единственная ниточка между нами и той, другой жизнью, жизнью без боли. Хотя, скорее всего, и там она тоже есть. Не может не быть.

...Мне пять лет, и я бегу к маме. У меня в руках рисунок.

— Погляди! — я почти кричу. — Ну погляди на это дерево. Оно ухватилось руками за землю. Оно стоит на руках и улыбается. Как в цирке, видишь? Оно живое!

Мама берёт в руки рисунок и разглядывает его так долго, так ужасно долго, что уже нет сил ждать. Наконец, не отрывая глаз от рисунка, мама прижимает меня к себе.

— Нюта, доченька, ты очень хорошо рисуешь. Даже слишком хорошо. Я обязательно поговорю с папой. Это надо показать художнику. Может быть, тебе стоит учиться.

Мои рисунки в самом деле показали одному художнику, и я стала ходить к нему в студию. Вернее, меня возил туда папа. Два раза в неделю. Нас всегда провожали мама и Берта. Они стояли рядом. Мама светилась горячим оранжевым, а Берта холодным синим, зато видно её было почти отовсюду. В студии занимались и другие дети, но я их не помню. Я вообще об этом не помню почти ничего, потому что была там очень недолго. Художник сказал папе, что не сможет меня ничему научить, и мы перестали туда ездить. Я не огорчилась, потому что дома было гораздо лучше, и там я могла не только рисовать. Те, кто умеет говорить, никогда меня не поймут, ведь они не представляют, как им повезло. Может быть, если бы я была, как они, мне не пришлось бы рисовать. Я не жалею, хотя краски меня мучают с детства, а несказанные слова ещё больше. И ещё то, что всем в этой жизни больно. Всем. И людям, и деревьям, и даже облакам. Сначала я рассказывала об этом маме, она слушала, а потом плакала, но потихоньку и тайком. Я перестала рассказывать, и несказанных слов стало ещё больше.

Выставка

Стороны света

Анны Вагнер

Мая — Люди — Война — Деревья

Афиш было всего две: одна на улице у самых дверей, вторая внутри. Заказывать больше не имело

смысла — народа не ожидалось, да и не могло быть много, по крайней мере, в первый день. Я пригласил тех, кого было можно и кого полагал нужным из своих, то же самое сделал владелец галереи. И, конечно, Алекс — Этери называет её именно так — с её связями и кругом знакомых.

В углу, у входа в зал, сидит Нюта, держа в руке пластиковый стаканчик с водой. Кажется, что происходящее не имеет к ней никакого отношения, точно так же, как она к нему.

Зал квадратный. Шестнадцать картин — по четыре на каждой стене. Ещё одну, семнадцатую, появившуюся неожиданно лишь накануне, поначалу не замечаешь вовсе, но вся экспозиция подводит тебя именно к ней — миновать её невозможно.

Мы с Этери осматриваем и проверяем всё в последний раз — от освещения до набора напитков. — Саша, ну как?

— Удивительно. Знаете, в самый последний момент обязательно что-то оказывается не так, какая-нибудь мелочь. А мы всего за сутки поменяли, ни больше ни меньше, всю философию экспозиции. Эта её «Магнолия», её последняя работа, сразу оттянула всё на себя, да иначе и не могло быть. От неё невозможно оторваться, хочется смотреть и смотреть. И как точно Нюта нашла ей место. Но, Этери, если не секрет, почему так внезапно? Почему Нюта не хотела её выставлять с самого начала? — Это её желание, я могу лишь догадываться. Конечно, спроси я, она бы, скорее всего, ответила, но я задаю ей не все вопросы.

— Наверное, я не должен этого говорить, и вы удивитесь, но мне кажется, я знаю, почему.

— Нет, — Этери посмотрела на часы. — Боже мой, ещё целых полчаса, время остановилось. Нет, Саша, в вашем случае не удивлюсь. Иногда я на самом деле боюсь. Именно поэтому.

— Чего? Что не услышите или не поймёте ответ? — Чаще наоборот, что пойму, — она ещё раз огляделась вокруг и сказала:

— Всё вот это и ещё многое сделано за пять лет. Первую картину она написала, едва ей исполнилось двенадцать. Это был «Эль Мирадор», и с него начались «Майя». Именно тогда я стала понимать, что такое Нюта на самом деле. Вернее, кто она такая. Впрочем, — она вздохнула, — сейчас не время. И лучше, если об этом вы услышите от неё.

— Но как? Она ведь говорит только с вами. Она не может...

— Она может. Я слишком хорошо знаю свою дочь, поверьте. Она готова с вами говорить. Впервые в жизни с почти посторонним человеком. Это меня тревожит. Очень.

— Почему? Разве это плохо?

— Нет, просто я не уверена, что к этому готовы вы. Но и об этом не время тоже, — Этери улыбнулась. — Знаете, что? Приходите к нам, когда всё это закончится, ладно? Хотя бы в ближайшую

субботу. Отпразднуем первую Нютину выставку. Узкий круг, только свои...

Не понимаю, каким образом, но с появлением публики выставка ожила. Люди переходили от картины к картине, и на их плечи садились птицы, а под ногами шуршали облетевшие листья. Воздух и камни оживали и превращались в слова, которые, казалось, невозможно забыть. Может, потому, что картины и люди наконец увидели друг друга? Научились друг с другом говорить?

— Погляди, какие они молодые, счастливые, красивые! Какие лица! И вдруг понимаешь, что на самом деле их уже нет. Разве такое возможно?

— Эта девочка изображает не людей. Она изображает их судьбы...

— И то, какими они могли бы быть. Мне кажется, она ощущает мир целиком. Весь и сразу...

— Дело не в том, что она видит так глубоко. Дело в том, что она видит так.

Около «Магнолии» все затихали, было слышно только дыхание. И я так до сих пор и не знаю, — может быть, это дышала сама картина.

Нюта была в фойе. Она сидела на подоконнике, болтала ногой и смотрела на улицу. Я подошёл. — Поздравляю! Я не знаю, как это назвать. У меня просто нет слов, вот и всё. Ну а то, что ты оттуда ушла... Нюта, ничего не поделаешь, это просто надо пережить, как ветрянку, — я уселся рядом с ней, и она... она вдруг взяла меня за руку — будто ребёнок — и выдохнула:

— Да.

Показалось, что мы разговариваем весь день, не умолкая. А ещё я внезапно осознал, что у меня есть сердце.

Что оно в самом деле бьётся.

Нюта — дневник

Москва не понравилась мне сразу. Всё было слишком большим и слишком шумным. И очень мало солнца. Люди показались серыми, пасмурными и почему-то все на одно лицо.

В аэропорту я впервые увидела бабушку Алекс — мамину маму. Для своих лет она выглядела на удивление молодой и очень живой. Я представляла её совсем иначе. Рядом с ней мама вдруг сделалась похожей на ребёнка, они обнялись и заплакали, было видно, как они рады, что помирились. Меня она обняла и поцеловала тоже. Это было забавно. У неё необычная профессия — историк моды и даже профессорское звание, потому что она читает лекции в университете.

Мы все живём в доме, который бабушка называет зимней дачей. Здесь самый большой телевизор, который я когда-либо видела, и целая коллекция одежды разных времён. Рассматривать её ужасно

интересно—много новых слов, и они не такие, как раньше. Зато телевизор работает почти круглые сутки. Я было решила, что из-за этого никогда не смогу здесь рисовать, и даже рассказала об этом маме. Мама засмеялась и ответила, что телевизору, наверное, просто скучно и не с кем поговорить и что я, конечно же, сильнее его.

Она очень изменилась. Бабушка Алекс считает, что во всём виноват «этот человек»,—так она называет того мужчину, из-за которого мы уехали от папы. Ещё ей не нравится быть бабушкой, вернее, само это слово. С самого начала она сказала, что вовсе не чувствует себя старухой и хочет, чтобы я называла её просто Алекс. Может быть, когда-нибудь так и будет, а пока я разговариваю по-прежнему только с мамой.

Так вот про «этого человека». Я никогда его не видела, но мне кажется, что он присутствует в нашем доме почти всё время, хотя мама не говорит о нём ни слова. Вечерами она часто уходит, а возвращается красивее и, может быть, счастливее, чем была. Я за неё рада, хотя... нет, она не стала мне чужой,—она стала не только моей. Оказывается он приезжал в Мексику по каким-то своим делам, и надо же было им с мамой случайно встретиться. Всё очень похоже на то, как когда-то она встретила с папой. Так говорит Алекс. Тогда они уехали отсюда, чтобы быть вместе. А теперь наоборот, чтобы быть вместе с «этим человеком», маме пришлось сюда вернуться. Странно, как всё замкнулось. Продолжу завтра.

Только что от меня ушла Алекс. Я записываю услышанное от неё сразу, не дожидаясь завтрашнего дня, ведь у меня в голове сейчас океан слов, и все они рвутся наружу из своих коробок. Она рассказала мне про моего дедушку—мамино папу. Я запишу её рассказ слово в слово, это нетрудно,—слова ведь не исчезают. Неважно, скажут ли они, как зайцы, или просто перешёптываются друг с другом о чём-то своём,—забыть их невозможно.

«Мы с твоим дедушкой познакомились случайно, хотя чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что случайностей не бывает. Может быть, ты об этом уже догадываешься или просто знаешь, ведь в тебе и его кровь тоже. Ты сама и есть лучшее подтверждение этой мысли. Мне было двадцать два, я училась на последнем курсе Суриковского института. Навряд ли тебе это о чём-то говорит, это просто часть моей жизни. Самой лучшей, самой близкой моей подругой была Тамара, или Тамрико, так её звали все. Она была родом из Тбилиси, из семьи грузинских евреев, хотя тогда это не имело для нас никакого значения, мы просто учились в одной группе. У неё был жених, и летом, после окончания института, в Тбилиси должна была состояться их свадьба. Разумеется,

она пригласила и меня, и я поехала. То, что произошло дальше,—это или мистика, или судьба, или боюсь даже думать что, хотя поняла я это, лишь когда увидела тебя. Теперь... теперь, мне кажется, я знаю ответ. Несмотря на то, что свадьба должна была быть светской, неделей раньше состоялось обручение по еврейской традиции, когда для всех остальных мужчин на невесту налагается запрет. Там всё и случилось, и, знаешь, как будто это было вчера. Один из друзей жениха... Его звали Давид, он был в чёрном костюме и ослепительно белой рубашке. Дело не в том, что он был красив, красив по-мужски, и не в том, что я увидела его и пропала. Мы с ним пропали одновременно. Оба и сразу. И уже ничего не надо было объяснять ни себе, ни друг другу. На следующее утро он заехал за мной, чтобы показать город, и всё произошло, и не было в моей жизни ничего прекраснее. Но... Давид был сыном раввина, как раз того самого, что проводил обручение моей Тамрико. С самого начала и он и я знали, что не сможем быть вместе. Отец никогда не позволил бы ему на мне жениться, а пойти против воли отца... На вокзале, перед самым отъездом, Тамрико передала мне его письмо. Я помню его на память—каждое слово. Вот что там было:

„Не удивляйся и не спрашивай почему, я не смогу тебе ответить. Я знаю то, о чём ты ещё не догадываешься. У нас с тобой родится дочь, наше с тобой дитя. По причинам, которые тебе известны, я никогда не смогу ни признать её, ни дать ей своё имя, но ничто не может помешать мне помнить тебя и любить её. Ничто не может помешать мне молиться за вас. Со временем ты поймёшь многое, а пока просто верь мне: наши пути слились, и не в человеческих силах их разъединить. Поверь—и всё исполнится. Назови её Этери. Прощай“.

Я не буду говорить о своих чувствах—они понятны, и дело не в этом. Главное—именно так всё и случилось. Родилась твоя мама, и хотя, видит бог, я хотела дать ей другое имя, но...

Замуж я так и не вышла, хотя мужчины в моей жизни, конечно, были, но и Давида больше не видела никогда, да и зачем? Жизнь шла своим чередом, и я стала тем, кем стала. Пока Этери не исполнилось двадцать, мне приходили деньги, два-три раза в год, и довольно крупные суммы, разумеется, я понимала, от кого и почему. С Тамрико мы встречались достаточно редко, лишь когда она бывала в Москве. О Давиде она не упоминала ни разу, а я не спрашивала. Лишь однажды—Этери было уже лет четырнадцать или пятнадцать—она обмолвилась, что он пошёл по стопам отца, то есть стал раввином. С тех пор я не знаю о нём ничего. Я вспоминаю об этой истории нечасто—сорок шесть лет—это долго. Но вот появилась ты и твои картины... Не потому, что я кое-что понимаю в этом и даже кое-что могу, но я чувствую в них,

в тебе ещё что-то, чему нет названия. И я спрашиваю себя: может быть, круг замкнулся? Кто, кроме тебя, может ответить? И знаешь ли ты ответ? Ты знаешь его, скажи, Боже мой, Нюта, девочка моя, я совсем забыла, ты же ещё не можешь, ещё не научилась со мной говорить. Прости меня, доченька, а?»

Почему-то она назвала меня доченькой, как маму. Неожиданно для себя я наклонилась и положила голову ей на колени. И прижалась щекой к её запястью, как собака.

Чаепитие

Когда чего-то ждёшь, оно наступает рано или поздно, даже суббота.

Алекс встретила меня на пороге, улыбаясь почти по-детски, и, вообще, выглядела совсем как подросток. Впервые я увидел их дома — её, Этери и Нюту, — так долго и так рядом.

Мы сидели за круглым столом под абажуром с кистями, пили чай из тонких, почти прозрачных чашек и беседовали о Нютиной выставке и об искусстве, а о чём же ещё мы могли говорить? Впрочем, и за столом, и в разговоре командовала Алекс. Мы с Этери лишь вставляли реплики, я из вежливости, она — потому что большую часть времени была не здесь и говорила не с нами, или мне это только показалось?

Потом Алекс показывала мне Нютины рисунки, те, которых я ещё не видел.

— Видите ли, Саша, довольно часто я чувствую себя рядом с ней, даже не знаю, как сказать... Наверное, как студент рядом с профессором, несмотря на то, что на самом деле профессор всё-таки я. Порой мне кажется, что она неспособна ошибаться, и знаете, это меня совсем не радует. Возможно, поэтому ей так непросто говорить. Видеть дальше и знать больше нелегко само по себе, а уж рассказать об этом другим...

— Да и захотят ли они слушать... — вставляю я. — Именно, — она кивает. — Поэтому она рисует. Её рисунки, её картины — это её речь, её несказанные слова. Она ведь видит людей с первого взгляда, вы не замечали? — Алекс улыбнулась. — Несколько дней назад она нарисовала меня, и знаете, как? В виде кактуса. Стоит такой крепенький кактус, обхватил себя руками, именно руками, и молчит. И ты слышишь, как он молчит. Невозможно понять, как это у неё выходит. Я уже заказала раму. Повешу в кабинете, подождём, когда расцвету.

Нюта была в чём-то матово-зелёном, лёгком. Других деталей я не заметил, потому что как-то само собой получалось смотреть только ей в глаза. Они притягивали и не отпускали, приходилось делать усилие, чтобы оторвать взгляд. Остальное было просто фоном. Она всё время молчала, но слушала очень внимательно, так слушала, словно вот прямо сейчас рисовала всё и всех вокруг, причём в каком-то своём и только ей доступном

измерении. Может быть, тогда я впервые увидел её по-другому, увидел не просто девочку, не просто гениальную девочку, не художника, — увидел Нюту. Впрочем, я увидел ещё кое-что.

В какой-то момент Этери отошла поговорить по телефону, а когда вернулась, Алекс посмотрела на неё долгим взглядом и после паузы спросила: — Это ведь он, да? Глеб, кажется? Ты могла бы его пригласить.

— Глеб, да... — Этери произнесла это медленно, как бы возвращаясь откуда-то, хотя ей этого вовсе не хотелось, и мне пришлось опустить глаза, чтобы не видеть столь явного — до неприличия — проявления чувств. Показалось, что комната наполнилась тяжёлым и сытым дыханием двоих, когда они одно. — Я приглашала, но он не смог. В следующий раз обязательно.

— Ну что же, надеюсь, в следующий раз он окажется не так занят. — Алекс замолчала снова, и стало очевидно, до какой степени она её ревнует. Я с удивлением поймал себя на мысли, что в этом она здесь вовсе не одинока, и было бы любопытно взглянуть, как этого самого Глеба изобразит Нюта. То есть какой он на самом деле. Аутисты — они ведь не умеют лгать.

Но об этом я, кажется, уже говорил.

Нюта — дневник

Я рада, что выставка наконец закончилась. Не знаю, сколько народа там побывало. Я с самого начала не понимала, зачем она вообще нужна, ведь всё, что я рисую, я рисую для себя. Я никогда не собиралась никому ничего показывать, тем более устраивать выставку, и согласилась только, чтобы сделать приятное маме и, наверное, Алекс. Честно говоря, мне там было не по себе, но помог Саша. Как только он увидел мои картины, всё пошло очень быстро и, как мне показалось, легко, хотя я понимаю, что на самом деле это совсем не так. Странно, я почти сразу научилась с ним говорить, раньше такого никогда не случалось.

«Этот человек», Глеб, по-прежнему здесь, а мама стала ещё красивее прежнего и чуть-чуть по-другому пахнет. Ещё мне вдруг стало очень не хватать Берты. Конечно, мама, папа и Мигель самые родные, но физически почему-то не хватает её. Её тяжёлых морщинистых рук, её тепла, её шеи, в которую можно было уткнуться и спрятаться от всего на свете. Неужели мне придётся всю жизнь прятаться среди моих картин? Берта — моя няня, и она одинокая, совсем как я.

...Берта часто повторяет мне, что её глаза устроены так, чтобы видеть меня всегда. Даже через стену, даже, если мы с мамой и папой куда-то уезжаем. — Тогда почему я тебя не вижу? — спрашиваю я. — Разве мои глаза устроены иначе? Тебя не было целую неделю или даже больше, и я соскучилась.

— Ничего не поделаешь, Анни, мне пришлось полегать в больнице, со старыми людьми такое бывает. Но всё это время я за тобой наблюдала и думала о тебе. А насчёт глаз не волнуйся, ты тоже научишься видеть через стены и даже дальше, когда немного подрастёшь. Тебе ведь только семь лет. — Я и сейчас кое-что уже умею. Если бы ты мне сказала раньше, я бы могла просто нарисовать тебе здоровье, это же так легко. И не пришлось бы лежать в больнице.

— В следующий раз мы так и сделаем, обещаю. Ладно?

Однажды я её в самом деле нарисовала, и она вышла старым, засохшим деревом со множеством пожухлых веток. Но они продолжали тянуться к солнцу, несмотря ни на что. И плечи их были обожжены.

Берта всю жизнь кого-то нянчит, сначала моего дедушку, потом папу. И, сколько я себя помню, меня. Ещё она почему-то не любит маму, хотя никогда об этом не говорит. Но я всё равно знаю, потому что это очень похоже на то, как я рисую. Сделаешь лёгкий карандашный набросок и сразу видишь, как потом это будет на холсте. Как должно быть на холсте. Лицо тоже всего лишь набросок, настоящая картина внутри. Так же, как я вижу будущий холст, я вижу мысли. Вернее, не просто мысли, а откуда они берутся и почему они именно такие. Я не могу объяснить по-другому, но это бывает очень трудно и совсем от меня не зависит. С самого начала я пытаюсь к этому привыкнуть, и мама считает, что у меня обязательно получится, а иначе просто не может быть. Ещё про Берту. Она не любит не только маму. Она не любит никого, кроме моего прадедушки и меня. Его давно уже нет, а она продолжает любить его, как собака хозяина — один раз и навсегда. Она и была ему собакой — она сама мне так и сказала. И я поняла.

Однажды я попросила её рассказать с самого начала, как они встретились и всё-всё-всё. Это очень грустная история, даже страшная. Они познакомились давно, во время войны, почти в самом конце, в феврале месяце, в Берлине. Незадолго до этого у Берты погибла вся семья — бомба попала прямо в их дом. Ей было тогда семнадцать лет, и она выжила чудом, но идти было некуда, поэтому несколько дней она жила в метро, не выходя на улицу. Метро было тогда бомбоубежищем. Довольно долго она почти ничего не слышала, потому что получила контузию — что-то вроде удара воздухом по голове. Во время следующей бомбардировки туда же пришлось спуститься прадедушке, потому что он случайно оказался рядом. Он был в отпуске после ранения и ехал домой. Узнав, что у неё никого и ничего не осталось, он предложил ей пока пожить у них, но когда они добрались до его дома, оказалось, что и его тоже нет. Свою жену Урсулу — мою прабабушку — он так и не нашёл, но

через два дня сумел разыскать в госпитале их сына, которому было всего два года. Так это началось, а больше Берта ничего не рассказала. Они остались втроём, и она любила его как могла — всю жизнь. Потом эта любовь перешла на меня, а больше она не любит никого. Мне кажется, она видит смысл жизни в том, чтобы меня охранять, но я так до сих пор и не поняла, сама эта жизнь, такая, какая есть, ей — за что? Даже когда я не здесь, а там, я всё равно не могу понять. И само это «там» — тоже. «Там» я просто становлюсь и Бертой и Мигелем, любимым другим человеком и всеми людьми вместе, но вопрос всё равно остаётся — за что? Это больно, но почему меня туда так тянет? Мои глаза научились видеть сквозь стены и так далеко, что рассказать об этом невозможно — Берта оказалась права. Всё что остаётся — говорить с ней снова и снова. Когда уже нет сил молчать.

— Берта, расскажи мне сказку.

— Какую сказку ты хочешь, менделе?

Как странно она меня зовёт. Такое смешное имя, и вовсе не немецкое, хотя похоже.

— Я хочу про тебя.

— Про меня только очень грустные сказки.

— Ну и пусть. Зато мне будет о чём вспоминать.

— Когда?

— Когда-нибудь потом. Когда не будет ни тебя, ни меня.

— Ты говоришь о смерти? Тебе ещё рано об этом думать, и после неё нет памяти, потому что нет ничего.

— Память есть всегда. Это может быть сон или страх, или беспричинные слёзы. У меня этого столько, что даже слишком.

— Тогда зачем тебе мои сказки?

— В них есть то, что называется любовью. Я мало что про неё знаю, а про такую, как твоя, почти совсем ничего. Она особенная, я хочу про неё.

— Ничего особенного в ней нет, менделе. Как раз наоборот, у каждого она одинаковая и всегда одна и та же — единственная.

— Как же я её узнаю?

— Я могу сказать, как её узнала я. Но поможет ли это тебе?

— Всё равно. Говори.

— Оказалось очень просто: исчезли все вопросы, их не осталось. Я поняла, что надо идти за ним и не оглядываться. Куда угодно.

— Как собака?

Будни

Случилось то, чего я ожидал и ради чего всё затевалось: после выставки о Нюте стали говорить и стали писать. В этом не было ничего удивительного, случайных людей там побывало немного. Но ещё раньше появились те, кто захотел её картины купить. Как только Нюта об этом узнала, в её

глазах поселился ужас. Этери поняла это сразу, да и как было не понять. Очевидно, сама мысль о том, что можно хотеть всем этим обладать, что этим вообще можно обладать, была для Нюты столь чудовищна, что она заболела. Она почти ничего не ела и совсем перестала говорить—даже с Этери. Лишь всё время рисовала и тут же всё рвала свои рисунки прежде, чем кто-то мог их увидеть. Однажды я попытался сложить обрывки, я хотел понять, услышать то, что она не могла сказать словами. На самом деле хотел ей помочь. То, что я увидел...

Больше я не делал этого никогда.

Сначала мы надеялись, что скоро всё изменится и к Нюте вернётся её обычное состояние. Мы—потому что я стал бывать у них довольно часто, но гораздо реже, чем хотел бы. И я даже не спрашивал себя, почему—ноги несли меня сами. Может быть, мне необходимо было услышать её голос, может быть, поймать на себе её взгляд, может быть, гораздо больше. Не знаю.

Но с Нютой всё оставалось по-прежнему, зато стали меняться те, кто её окружал. Алекс притихла и как-то потухла, а Этери словно заделена и почти совсем перестала выходить из дома. Время в её глазах остановилось. Прежде мне казалось, что такое может случиться только от счастья.

Так продолжалось до тех пор, пока один из приглашённых психологов не посоветовал переменить обстановку, вернуться туда, где есть то, чего не хватает ей здесь и сейчас. Вернуться в зону наивысшего комфорта,—так он сказал. Туда, где она может снова почувствовать себя ребёнком.

Это в самом деле оказалось просто. Стоило Этери заговорить с Нютой о возвращении в Мексику, к отцу, хотя бы на время, та с радостью согласилась и заметно ожила.

Конечно же, я хотел, чтобы она выздоровела, и, как мог, гнал от себя мысли, что если она уедет, скорее всего, я её уже не увижу. Изменить я всё равно ничего не мог. Ощущение это преследовало меня, пока однажды она вдруг не подошла ко мне сама и не сказала:

— Ты хотел, чтобы я тебя нарисовала. Не передумал?

Нюта—дневник

Я понимаю, что произошло что-то, с чем надо научиться жить, но не знаю, как. Ещё один вопрос из тех, которые не исчезли. Вернее, появились новые, а спросить не у кого. Даже Берта молчит. Даже «там» я не могу найти ответ. Иногда я думаю, что его нет вообще, особенно, когда говорю с теми, кого вижу на моих рисунках. Но я всё равно стараюсь и не теряю надежду, потому что плохо маме и Алекс, а ещё Саше. Ближе, чем они, здесь, в Москве, у меня нет никого. Остальные

далеко—и папа, и Мигель, и Берта, и даже моя любимая секвойя. С ними мне наверняка было бы легче. Я могла бы рассказать, что дело не только в выставке, в картинах и всех этих несчастливых людях. Они же не виноваты. Может быть, я бы справилась с этим быстрее, если бы не мама. Я ревную её, ревную впервые в жизни. Не потому, что она стала любить меня меньше, а потому, что она уже не моя. Почти не моя. Раньше нас всегда было трое: я, мама и папа, и мы принадлежали друг другу. Потом появился «этот человек» Глеб, и мама стала его. Но даже когда она перестала быть папиной, она оставалась моей. Так было до сих пор. Потом—однажды—мне приснился сон, что этот Глеб умер. Во сне я ужасно обрадовалась, но когда проснулась, то испугалась и своей радости, и даже себя. И сразу поняла, что мама уже не принадлежит мне, как раньше, а может, не принадлежит вообще. Было понятно, кому. Я вижу, как она меняется, делается непохожей сама на себя. Мне кажется, скоро она исчезнет совсем, и тогда не останется совсем никого, с кем я смогу говорить. Только дневник.

— Доченька, ну вот, я пришла. Ты ведь именно этого хочешь, правда? Поговорить обо мне,—мама садится рядом со мной на кровать, находит мою руку. В комнате почти темно, видна только её неясная тень.

— Хочу. Но получится не совсем о тебе.

— Почему?

— Я вижу тебя по-другому, не как раньше.

— Что же изменилось?

— Раньше ты была вокруг, везде, а сейчас... иногда тебя вообще нет. А когда есть, то не одна. Ты всё время не одна. С тех пор, как встретила его.

— Так и есть, я изменилась, я другая. Бывает, я сама себя не узнаю. Но ведь и ты меняешься. Ты взрослеешь, Нюта. Возможно, дело не только во мне, как по-твоему?

— Я не знаю. И что с этим делать—тоже.

— С этим ничего не надо делать. С этим ничего нельзя сделать, кроме одного.

— Жить? Наверное. Но я не могу понять, как. Вопросы не исчезают. Появляются всё новые, а ответов нет.

— Ну вот, а я собиралась задать тебе ещё один. Хотя, конечно, странно задавать его тебе, но мы никогда не говорили об этом раньше. Мне кажется, он может помочь нам обеим. Можно?

Я киваю едва заметно, но она видит.
— Что такое, по-твоему, бог? Как ты его чувствуешь? Может быть, даже видишь? Я спрашиваю, потому что почти уверена,—ты можешь ответить.
— Я вижу...

...Вот я вижу папу. Он где-то там, внизу, и улыбается мне, и машет. На самом деле я смотрю

на него не сверху, а сразу отовсюду, ведь я — везде. Я улыбаюсь ему тоже, хотя не понимаю, почему он кажется мне таким маленьким, он же так близко, что я могу до него дотронуться. Вот мама обнимает какого-то человека. Мне видна лишь его спина и широкие плечи, и то, что он держит её, как ребёнка, словно баюкает. Ещё я вижу Сашу. Он смотрит на маму как заворожённый, наклоняется, обнимает её колени. Мне вдруг остро хочется — чтобы мои, хочется почувствовать его руки. Хорошо, что вокруг темно, потому что я краснею, мне жарко, мне тревожно. А ещё я вижу...

— Не знаю. Мама, у меня не хватает слов. Они не хотят про это.

Её лицо оказывается рядом на подушке. Её дыхание мне в висок.

— Ну, хорошо, не волнуйся. Тогда буду говорить я. У нас с тобой было разное детство, доченька. Я росла в другое время, меня окружал другой мир и другие люди. Сходство лишь в одном — в любви. Меня, как и тебя, любили — мама, друзья, твой папа. Мне казалось, что я знаю о ней всё. Сколько себя помню, я чувствовала себя сильной, красивой, желанной, и это придавало мне силы, даже когда их не оставалось. Я стала богом сама для себя, и мне было незачем думать о нём. Потом родилась ты... — мама умолкает, подносит мою руку к лицу, прижимается щекой.

— Потом родилась ты, и я узнала другую любовь и другой смысл всего на свете — жить для тебя. Это было необычно, иногда страшно и всегда прекрасно. Казалось, я стала сильнее в тысячу раз. Пока не появился Глеб, и случилось непоправимое: я перестала быть сильной. Это не значит, что я стала слабой, но... Видишь, мне тоже не хватает слов. Ну, вот, например. Представь, что всю жизнь живёшь в пещере, там тепло, надёжно, всегда горит огонь, а снаружи — воет ветер, ливень, хищные звери. А потом ты вдруг, нет, не выходишь наружу, а просто очутилась там, сама не понимаешь, как. И оказывается, что бояться некого и нечего, кроме... Кроме самой себя. Да и то поздно, потому что всё уже произошло.

— Что произошло? Я не понимаю, мама.

— Произошла я. Я — настоящая, такая, какой родилась. Оказывается, я просто об этом не знала, не догадывалась даже, понимаешь?

— Но ведь ты говоришь о боге. Причём здесь он?

— Единственный путь к нему, — обрести себя, из половины превратиться в целое. Со мной это произошло, когда я встретила Глеба.

— А как же папа и я?

— Для нас с тобой ничего не изменилось, просто мы обе выросли, стали другими. А папа... Доченька, папа и так всё понимает. Он знает, что меня прежней, меня — его, уже нет. Конечно, можно сопротивляться, притворяться перед собой

и другими, и ты даже не заметишь, как превратиться из половины в четверть, чтобы постепенно исчезнуть совсем. Остаётся положиться на бога. Когда он внутри, это просто. А теперь спи, детка. Я уверена, что ты меня поймёшь. А если не поймёшь, — я по голосу слышу, как она улыбается, — если не поймёшь, то нарисуешь.

За ней закрывается дверь, и остаются лишь мои глаза в оконном стекле. Я смотрю в них, в себя, потому что знаю — там Саша. Мне хочется так много ему сказать, прижаться, но невозможно собрать слова — они рассыпаются как горох. Последняя мысль перед пробуждением — словно порыв весеннего ветра — что бог где-то совсем рядом. Первая после — а было ли это на самом деле?

Когда от слов спасенья нет

За окном собиравшийся с самого утра и наконец пришедший вместе со мной дождь. Нюта глядела в окно и водила пальцем по стеклу.

— Привет. Ты тоже любишь смотреть на дождь?

— Конечно. Тоже?

— Ещё как. В детстве я, бывало, прилипал носом к оконному стеклу — не оторвёшь. А однажды почти весь день так и простоял на крыльце, пока не стемнело. Правда, под козырьком.

— А я каждому дождю даю имя. И раньше — дома — тоже. Только у нас они совсем другие.

— Унас? Ты всё ещё тоскуешь, скучаешь по дому?

— И да и нет. Мне трудно ответить. Здесь все другое, наверное, и я. Мама говорит, что я выросла. А ещё, — Нюта снова отворачивается к окну и тихо-тихо, как когда-то с Этери, почти шепчет, — случился ты.

...Тишина отступает. Я снова начинаю слышать дождь и без слов, как никогда раньше, Нюту — она смеётся. Моим губам солоно, но, может, мне это только показалось? Её лицо всё ещё в моих ладонях, и я тянусь к нему снова, просто чтобы проверить — ведь и от счастья слёзы бьют тоже.

Вечером того же дня позвонила Этери.

— Нюта остаётся. Я не просто понимаю, почему, — я знаю. Вот только радоваться этому или огорчаться? Прыгнуть самой проще, взлетишь или разобьёшься — тебе и платить. Но когда речь о ней, я... Я по-прежнему не уверена, готовы ли вы, Саша. Больше того — способны ли. Здесь нельзя ошибиться ни вам, ни мне, но больше всего — ей. Вы даже не представляете себе, какая у этого может быть цена, да и никто не представляет. Нюта несравнимо умнее и мудрее меня, хотя бы поэтому я не могу ничего изменить и ничему помешать, — она всё равно поступит по-своему. Но вы, вы уверены — не в том, нужна ли она вам, а в том, нужны ли вы ей? И потом, несмотря на всё,

что я только что сказала, она ведь ещё ребёнок... Не отвечайте мне, Саша, ответьте самому себе—я пойму.

Я и не ответил—ни ей, ни себе. Хотя себе, по крайней мере, пытался, но очень быстро понял, что смысла в этом нет никакого—Нюта оказалась не только умнее и мудрее, она оказалась и сильнее тоже—и меня, и Этери, и даже самой себя. Да и могло ли быть иначе?

В любом случае, едва начав говорить с ней, замолчать снова было невозможно—точка невозврата оказалась в самом начале пути, а может, её не было вообще. Я этого не знал, а Нюта об этом не задумывалась вовсе. Ну и что?

Нюта водит кистью по холсту, то скрываясь за ним совсем, то появляясь снова. Я сижу у самого окна, борясь с желанием подойти посмотреть и дотронуться до неё. Она молчит, лишь иногда бросает на меня взгляд, всматриваясь во что-то, видимое только ей, и улыбается своими фиолетовыми глазами. Я не выдерживаю.

— Что ты делаешь, когда слова рвутся наружу, а произнести их невозможно? И рядом никого, с кем бы ты могла...

— Я уже привыкла. Это называется: когда от слов спасенья нет.

— Вот-вот. И как же ты спасаешься?

— Иногда слова начинают говорить друг с другом, а я только слушаю, и бывает даже смешно, но и грустно тоже. А чаще всего я рисую, и рисунки говорят вместо меня.

— Они не говорят, они кричат. По крайней мере, те, которые я видел.

— Это выходит само собой. А самое трудное давать им названия. Картина или рисунок без названия, это как человек без имени.

— Но ведь так ты подсказываешь другим, что ты хотела сказать, говоришь им, куда думать. Может, правильнее дать им возможность понять самим? Во всяком случае, попытаться. Просто—безымянный холст, безымянный рисунок, и всё.

— Мне не приходило в голову. И про других тоже. Их у меня никогда не было, только мама, папа и Мигель. Иногда Берта. Потом появилась Алек, теперь ты. Но вы все часть меня, то, что у меня внутри, какие же вы другие? Ведь я рисую и вас тоже.

— Ты хочешь сказать, что все твои работы, это ты изнутри?

— Конечно. Я рисую и пишу всё время одно и то же—себя.

— Но в одном мазке твоей кисти, в одной линии уместается целая жизнь. словно тебе ведомо всё, что было, есть и будет. Ты не бог случайно, Нюта?

Она смотрит на меня, и в глазах её вдруг просыпается лукавство.

— А когда ты меня целуешь, ты думаешь так же?

— Когда я тебя целую... Когда я тебя целую, я сам себе не верю. Когда я от тебя отрываюсь, я не верю себе ещё больше. И не знаю, что с этим делать.

— Положись на бога, который внутри,—так говорит мама.

— Внутри у меня ты. В этом смысле я с ней абсолютно согласен. Другой бог мне не нужен.

— А он никого не спрашивает, нужен или нет. Он просто есть—и всё. Везде, даже в деревьях. И в тебе тоже.

Внезапно до меня доходит, что и глядя на меня, она ни на секунду не прекращает работу. Её рука, её кисти, живут словно сами по себе, словно принадлежат другой Нюте—Нюте всевидящей, Нюте неземной, может быть, даже небесной.

Нюта—дневник

Когда мне совсем плохо, я всегда вспоминаю Мигеля и его мальвы—их тяжёлые, душистые головы, в которых живёт шерстяной шмель. Мигель, это наш садовник, он почти такой же старый, как Берта, и у него внутри солнце. Когда-то он рассказал мне, что его предки—потомки вымершего племени майя, что таких, как он, осталось на земле совсем мало—единицы, и они узнают друг друга по кусочку солнца внутри. Я помню Мигеля столько же, сколько помню себя, а себя я помню давно, даже ещё до рождения. Я поняла это, когда спросила у мамы, где те красные цветы, которых раньше было так много. Порой мне казалось, что они и есть мой настоящий дом.

— Нюта, доченька, это были мальвы, они в самом деле росли вон там,—она показала на горку камней рядом с ручьём,—и их действительно было много. Я любила сидеть среди них и читать тебе вслух, но когда дедушка заболел, их красный цвет стал его раздражать и пришлось их вырубить. Даже Мигель тогда плакал. Удивительно, что ты их помнишь, ведь ты ещё не родилась, я была только на шестом месяце. Значит, ты видела и запомнила их ещё до своего рождения. Я читала, что такое в самом деле бывает, правда, очень редко. Наверное, у нас с тобой как раз такой случай.

Мигель работает с утра до вечера. Я вижу его то окапывающим деревья, то поливающим цветы в клумбе, то стригушим траву, которая растёт слишком быстро. Он никогда не отдыхает, но ровно в полдень садится на плоский белый камень у ограды и принимается за обед. Маленькой я любила подкараулить его в этот момент, и он каждый раз угощал меня чем-то удивительным, даже если это было обычное яблоко, или печенье, или горсть малины. У него это было почему-то гораздо вкуснее и необычнее, чем дома, а ещё мы разговаривали. — Ты ешь, как птичка,—улыбается Мигель.— Точно как та, что вон там порхает с ветки на ветку. Видишь?

— Тогда, может, я и была раньше птицей?
— Нет,— качает он головой.— Ты была ангелом. Ты и сейчас ангел, только пока маленький.
— А ты?
— Со мной всё очень просто: я был деревом с крепким и толстым стволом и глубокими корнями.
— Значит, ты был секвойей. Я расскажу маме, вот она удивится.

Мы сидим, слушаем, как дышит сад, и молчим. Я люблю с ним молчать, наверное, поэтому мне так легко с ним говорить.

— Мигель, о чём ты думаешь?

— Ни о чём особенном. Просто вспоминаю, как мои ветви шевелил ветер, как на них садились птицы. Но это было слишком давно.

— А кем ты был ещё раньше, до того, как стал деревом?

— Просто человеком, человеком своего племени. Я ведь тебе рассказывал, помнишь?

— Конечно. О племени майя.

— Верно. Нас было много, мы многое умели и строили большие каменные города. Но однажды мы покинули их и ушли в джунгли, чтобы стать деревьями.

— Все-все?

— Да, всё племя. Мы бросили свои дома, дворы, домашнюю утварь. Бросили всё и ушли.

— Почему? Разве такое может быть, Мигель? Расскажи.

— Города убивали нас, делали ненасытными и даже жестокими. Когда мы это поняли, то ушли, чтобы не начать убивать друг друга. Спасти тот кусочек солнца, который был в каждом из нас.

— Когда-нибудь я вас всех обязательно нарисую— всё племя. Обещаю.

— Да. Всё так и будет.

— Откуда ты знаешь?

— Так говорит мой бог, а он никогда не ошибается.

— А бог—это что?

— Это начало всего, что ты видишь, всего, что вокруг. Без него ничего не было, нет и не будет. Он вечен и он во всём.

— Значит, и во мне тоже? Тогда я хочу с ним познакомиться.

— Ты с ним уже знакома, только сама об этом не догадываешься. Тебе надо немного подрасти.

— А как я узнаю, что уже подросла? Мне не хочется ждать слишком долго.

— Это случится, когда ты научишься чувствовать чужую боль, как свою. И тебе не придётся слишком долго ждать.

— А вот ещё... Если бог вечен и он в каждом из нас, почему люди умирают?

— Люди не умирают. С концом одной жизни наступает другая. Это как пересесть из старой лодки в новую, чтобы плыть дальше по реке времени.

— Куда плыть, Мигель? И зачем?

— За тем, что каждый из нас стремится найти. Своё отражение, свою тень, а на самом деле—себя. Ведь каждый человек лишь половина целого, половина того, чем может быть, вот он и ищет недостающую половину. Но одной жизни для этого бывает мало.

— А когда находит, то что?

— Это очень трудно объяснить. Представь, что ты дерево или цветок магнолии. И бог у тебя внутри начинает смеяться.

— Ты так понятно и просто всё объясняешь, а мне почему-то ужасно не хватает слов. Они такие непослушные.

— Зато ты рисуешь. Твои рисунки умеют говорить лучше всяких слов,—Мигель кряхтя поднимается с камня и гладит меня по голове.— Ну, беги домой, становится жарко. Солнце палит так, как все люди майя вместе. Пора приниматься за работу. Ещё очень много надо уснуть.

Последняя запись в моём дневнике

Сегодня я открываю свой дневник в последний раз. Очень долго он был единственным, с кем я могла разговаривать обо всём на свете и просто—обо всём. Но ведь если что-то должно быть—оно наступает. Как сегодняшнее утро.

Я вошла и увидела бабушку и седого бородатого мужчину в чёрном костюме и белой рубашке. Они стояли, прижавшись друг к другу. Чуть в стороне стояла мама и кусала губы.

— Нюта,—сказала бабушка,—ты ведь знаешь, кто это? Ты ведь уже догадалась, правда?

Я хотела кивнуть, но слова вдруг послушались и вылетели из своих коробок, как птицы. Впервые в жизни.

— Да,—ответила я, глядя на него.—Поверь, и всё исполнится. Всё так и вышло.

И мама бросилась мне на шею.

...—Вам некого было называть папой и дедушкой, а у меня не было других детей и других внуков—это так. Это и должно было быть так.

— А бабушка?

— Она заплатила самую дорогую цену, потому что любила меня.

— А вы разве нет?

— И я. Но я раввин и мужчина, я видел дальше. Я знал.

— Тогда вы ещё не были раввином.

— Раввинами не становятся, раввинами рождаются. Наши имена записаны в Торе. Однажды я увидел там своё.

— Разве мало тех, кого зовут так же, как вас? Может быть...

— Наверное, много. Но кроме имени, я увидел ещё и даты. Это было моё имя, дитя, и ты—самое

лучшее доказательство,—он помолчал.—Я понимаю, почему ты говоришь мне «вы», но ты постарайся, ладно? А теперь, пойдём. Покажи мне её.

В центре гостиной, прислонённая к спинке кресла, стояла, глядя на нас, моя «Магнолия». Она улыбалась нам миллионами лиц своих лепестков, и в каждом светилась частица солнца, которая словно и не угасала никогда, как частица бога. Потому что разве можно погасить солнце?

Время то ли замерло, то ли его не стало вовсе, как не стало инквизиции и распятия Христа, Дрездена и Ковентри, Треблинки и Бабьего Яра, а об Освенциме никто даже не слышал.

Рядом раздалось быстрое неразборчивое бормотание, в котором я не поняла ни слова—дедушка молился. Когда оно затихло, я спросила:

— Эта молитва—о чём она?

Вместо ответа я услышала:

— Скажи мне, как ты её назвала?

— «Магнолия».

— Я просил всевышнего, чтобы он дал твоей «Магнолии» место рядом со свитком Торы в том храме, который будет построен. И пусть каждый, кто придёт туда, увидит её. А ещё,—он неожиданно улыбнулся, и я почувствовала на затылке его ладонь,—ещё я молился за тебя, потому что всё только начинается.

Забвение

Поднявшись по узкой, крутой, с резными деревянными перилами лестнице, попадаешь в крохотную мансарду с большим круглым окном и улицей за ним. Узкая и белая, она тянется и тянется, подставляя себя солнцу, пока не вливается наконец в раскалённый город. Вся как на ладони, мы знаем друг друга в лицо.

Здесь Ньюта пишет.

Семь лет. Всё, что произошло за это время с нами, ни представить, ни описать невозможно. Да и зачем? Я оберегаю её, а вместе с ней ту боль и тот свет, которые и есть мы. Мы все.

Порой мне кажется, что она старше всех нас, живущих, вместе взятых. Есть такое выражение в её глазах, когда она замирает на секунду, прежде чем коснуться кистью холста, или просто молчит.

Будто солнце зашло навсегда.

Она научилась говорить, но так и не научилась лгать.

И пусть её и её единственную выставку забыли почти сразу, а «Магнолия» так и продолжает висеть у нас на стене. Пусть старый храм будет окончательно забыт, а новый не построен никогда, но в самый последний, самый отчаянный миг всегда можно покинуть свой дом, уйти и стать деревом. Это не так трудно, поверьте.

Нюта любит повторять, что, встретив друг друга, мы с ней нашли бога, хотя и она и я знаем, что на самом деле бог—это лишь вечные поиски его. Во всём. Обретения, потери и вечная жажда.

Бог—это все мы, отчаявшиеся, голодные, неправедные, ищущие.

Ах, это крохотное солнце внутри, да есть ли оно вообще?

Она продолжает рисовать.

Я никогда не спрашиваю её, зачем, но вовсе не потому, что боюсь не услышать или не понять ответ. Временами мне даже кажется, что я его знаю, и тогда дико, до смерти хочется нарисовать её самому. Вместо этого я вжимаюсь лицом в её ладони и, хотя она молчит, слышу:

— Никогда не бойся того, что придёт. Ведь всё уже было, всё было...

...Нюта скоблит палитру, счищая засохшую краску. Полдень. Солнце палит, как будто все люди маяя глядят на нас сверху. Вдруг её рука с мастихином замирает в воздухе.

— Почему-то вспомнила,—говорит она, уставившись в окно,—как однажды спросила у бабушки, что он почувствовал, увидев в Торе своё имя. Знаешь, что он ответил? «Я заплакал».

Она рисует.